ЮРИЙ ГЕРМАН

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Эта книга написана о людях, о современниках, служивших своему делу неизмеримо больше, чем себе самим, чем своему достатку, своему личному удобству, своим радостям. Здесь рассказано о самых разных людях. Это люди, знаменитые и неизвестные, великие и просто «безыменные», но все они люди, борцы, воины, все они люди «переднего края».

Иван Васильевич Бодунов, прочитав про себя, сказал автору: «А ты мою личность не преувеличил? По памяти, был я нормальный сыщик и даже ошибался не раз!»

- Юрий Герман
  - ○

Юрий Герман
О Горьком

В жизни всегда есть место подвигам.

И те, которые не находят их для себя, те просто лентяи, или трусы, или не понимают жизни.

Было мне немногим больше двадцати одного года, когда в тихой парикмахерской на Малом проспекте Васильевского острова прочитал я добрые слова, сказанные Алексеем Максимовичем Горьким про меня. Добрые, но осторожные. Помнится, была там такая фраза: «Если малый не свихнется, из него может выйти толк».

«Не свихнется», – недоуменно размышлял я. – А почему, собственно, мне следует свихнуться?»

Это самое «не свихнется» сверлило меня и в вагоне поезда, шедшего в Москву, и в Москве, когда подходил я к особняку на Малой Никитской, и в машине, которая везла нас на дачу к Алексею Максимовичу.

Парило, собиралась гроза. Всем нам в машине было страшновато. Никто из нас, кроме шофера, еще никогда не видел Горького. Мы знали его по портретам, по собраниям сочинений, по однотомникам, по газетным статьям. Каждый из нас представлял его по-своему, как представляли мы себе Чехова, Толстого, Короленко, Лермонтова, Пушкина. Мы ехали к живому Горькому, зная, что живой Горький в то же время классик. Это не вязалось одно с другим, и когда много позже я вспоминал этот час в автомобиле, мне казалось, что никто из нас за все время пути не сказал ни единого слова.

Как я вошел в кабинет Горького – не помню начисто. Словно плотный туман накрыл меня, а когда туман этот рассеялся, я увидел Горького, увидел, что сижу перед письменным столом и что Горькому ужасно как неловко от того состояния, в котором я находился. Он вообще терпеть не мог всякую «чувствительность» – это я понял впоследствии, а сейчас мне было не до размышлений и не до наблюдений. И почему-то мучительно казалось, что Горький непременно начнет задавать такие умные вопросы, ни на один из которых я не смогу ответить. Например:

– Как вы относитесь к Гегелю?

Но про Гегеля он меня не спросил. За большим, широко распахнутым окном бушевала летняя гроза. Летали по ветру листья, сверкали длинные молнии. Зрелище было грозное и располагающее к значительным фразам о бессмертных красотах природы и различных ее явлениях, но Горький грозы как бы даже и не замечал, а принялся выспрашивать меня заинтересованно и деловито: где и как я живу. Сдавленным голосом я сообщил, что на Васильевском, но Горькому не это было нужно. Оказалось, что интересовался он размерами моей комнаты, соседями и коммунальной квартирой в ее целом. Дверь моей комнаты выходила в кухню, взаимоотношения владелиц примусов были сложные. Горький протянул мне листок бумаги и карандаш и предложил схематически эти взаимоотношения изобразить. Характернейшим жестом разглаживая усы, он спрашивал:

– Эта против этой? А эта – нейтралитет? Ах, она совместно с этой? Очень любопытно, чрезвычайно любопытно. И все вместе объединены против этой угловой? А угловая что же? Скажите на милость, какая храбрая дама! А у вас есть свой примус? И где он?

Внезапно я заметил, что Горький спрашивает у меня, чем я питаюсь, и что я подробно, без всякого смущения и совершенно позабыв, что передо мной живой классик, на эти вопросы отвечаю.

– Брюкву жарили на воде? А вам не кажется, что жарить на воде невозможно? Ведь как будто бы жарение и вода – процесс взаимно исключающий. Жарят, насколько мне известно, на жире…

Пожалуй, мне никогда не доводилось встречать людей, которых бы так интересовала обычная, ничем не примечательная жизнь их собеседников, как интересовала она Алексея Максимовича. Я видел людей, которые умели слушать. Не раз видел таких, которые, разговаривая с другими, в основном слушали себя и сладко упивались производимым ими впечатлением. Я видел людей, слушающих умело вежливо, но при этом думающих свои думы. Мне доводилось встречаться со многими людьми-слушателями, но никогда я не представлял себе, что человек может быть так искренне внимателен, так сочувственно и напряженно заинтересован, так искренне близок своему собеседнику, как бывал Алексей Максимович. Разумеется, тут дело не во мне, с моей самой обычной биографией, тут дело в другом, в значительно большем. Мы все, все наше поколение, были интересны Горькому во всем решительно. Он хотел понять, что же мы такое. Его интересовали, занимали и даже волновали самомалейшие подробности не только нашей жизни, но и нашего быта. Он желал знать не только о том, что мы читаем, но и что мы

едим. Он был лично заинтересован в нас, в молодом поколении еще только будущих литераторов, в нашем физическом и нравственном здоровье, в том, чтобы у нас были чистые и ясные мысли, в том, чтобы жизнь наша не разменивалась на пустяки, в том, чтобы не решали мы давно решенные вопросы, в том, чтобы шли мы каждый своим путем и делали это с максимальной пользой для того государственного устройства, гражданами которого мы являемся.

…Разговоры о жареной брюкве и примусах на коммунальной кухне дали мне возможность опомниться. Теперь я видел Горького. Помню голубую рубашку и серый пиджак, помню отблески молний на лице Горького, помню, как, вставляя в мундшук сигарету, он заговорил о моей книге. Приготовившись выслушать речь прочувственно-комплиментарную, я, со свойственной молодости самоуверенностью, даже не запасся карандашом и бумагой для того, чтобы записать замечания Горького.

И тут начался разгром, но какой!

Помню, что поначалу я даже не понял, что все эти жесткие слова относятся именно к моей книге. Мне показалось, что речь идет о совсем другом сочинении, которое Горькому не нравится, – не в пример тому роману, который он быстро перелистывал своими длинными пальцами. Низким голосом, сердясь (именно сердясь, потому что Горький никогда не был безучастен или величествен, разговаривая о литературе), Алексей Максимович подверг суровейшему разносу языковые неточности, «болтовню», попытки мои к афористичности, общие места, гладкие, казалось бы, без сучка и без задоринки, обтекаемые фразы. Пресловутая путаница с «одел» и «надел» вдруг вывела его из себя:

– Если вы литератор, даже и молодой, то будьте любезны в этих самых «одел» и «надел» навечно разобраться. Это основы ремесла. Или вы на редактора, быть может, надеялись? А редактор – на корректора?

Я молчал.

– Вы сколько раз этот свой роман переписывали?

– Один, – не без гордости заявил я.

– А вам, сударь, не кажется, что это хулиганство? – осведомился Горький.

И, помолчав, смешно добавил:

– Такие вещи скрывать надо от людей, как мелко о воровство, а не хвастаться ими. Один! – повторил он с непередаваемой интонацией возмущения и брезгливости. – Значит, сколько посидел, столько и написал. Хорош добрый молодец!

Не глядя на меня, Горький долго и сосредоточенно молча

сердился, потом объявил:

– Эту книгу нужно написать всю наново. И не переписать, отметив в предисловии, что вы очень мне благодарны за советы, а просто написать наново, как будто этот птичий грех с вами и не случался. Вы в Китае и в Германии были?

– Нет, не был, – промямлил я.

– А написали… – сокрушенно сказал Горький. – Ну что теперь с вами станешь делать? Как же это вы так?

Я рассказал, что инженер Нортберг, который был прототипом моего Кельберга, довольно много рассказывал о своих скитаниях по белу свету, что роман «Вступление» вначале был всего только очерком в журнале «Юный пролетарий» и что мне просто очень захотелось написать поподробнее о судьбе такого вот иностранного специалиста, как Кельберг.

– Захотелось, захотелось, – ворчливо произнес Горький. – Привезли бы мне или прислали ваш очерк, подумали бы вместе, поездили бы вы по заграницам, какая бы книжища могла получиться. Ну и переписали бы, разумеется, раз десять…

И во второй раз он заговорил о романе. Со стороны можно было бы подумать, что роман даже еще не напечатан, что он, может быть, только пишется и что вот он, Горький, советует мне, как можно написать такой роман…

Советуя, он ни разу не спутал действующих лиц, помнил их фамилии, характеры, помнил сюжет. И оттого, что он, тот самый великий Горький, который только что отругал книгу, все-таки все в ней помнил, я делался лучше в своих собственных глазах, мне становилось легко и свободно, и было даже мгновение, когда я забыл, что передо мной сидит и со мной разговаривает не кто иной, как Алексей Максимович Горький. Я на что-то возразил ему, сказав:

– Нет, Алексей Максимович, это совсем не так…

Разумеется, я мгновенно опомнился. И даже испугался. Но Горький как бы даже обрадовался моему возражению. Он заставил меня подробно развить все мои доводы и тогда, весело потирая руки, разгромил меня наголову.

Сколько раз впоследствии я замечал, как Горький раздражался на слишком легко соглашающихся и поддакивающих ему людей, как он вдруг замолкал после поддакиваний и изъявлений восторгов и в глазах его появлялось выражение скуки и усталости.

Разговор о романе кончился так:

– Я ваш роман перехвалил, – сказал Горький, – Очень перехвалил. Это случается с нами, литераторами, да и не только с нами. Бывает, стихотворение в высшей степени посредственное,

но оно, извините за выспренность слога, в данное мгновение отвечает строю вашей души. И кажется такое стихотворение прекрасным. «Вступление» ваше отвечало многим моим мыслям. Обрадовало меня запальчивостью вашей и убежденностью. Но до настоящей литературы тут еще далеко. Впрочем, вы не огорчайтесь, время у вас еще есть…

И вслед мне сказал:

– Переписывать надо! Запомнили?

«Вступление» я написал наново. Горький прочитал и сказал мне угрюмо:

– Теперь лучше. Значительно лучше. Почти хорошо. Но, понимаете ли, почти. Надо знать, о чем пишешь. Это закон непреложный. Из жизни надо писать, непременно из жизни, из самой гущи ее, тогда и подробности будут настоящие, а не приблизительные. Ах, какое это горе в литературе – приблизительность, пунктир, порхание. И похоже, а не то. Не обрадуешься, не удивишься, не почувствуешь себя счастливым. Ну да что!

Я задал Горькому вопрос, который, как правило, мучает огромное большинство молодых литераторов. Он развеселился, мотнул стриженной ежиком головой, глаза его зажглись, заговорил:

– Если в человеке есть основания для будущего писательства, то он не должен спрашивать ни у кого, писать ему или не писать. Нельзя спрашивать, понимаете? Я-то ведь не знаю, что у вас внутри. Не знаю, какой там мощности заряд. Трудно это определить, взвесить. Да и что я – безмен? И дело наше другое, чем на скрипочке играть или петь романсы. Там, наверное, можно: «Пойди сбегай к маэстро, маэстро скажет». А я и не маэстро, я сам литератор, читатель. Настоящему литератору можно тысячу раз говорить, что он никуда не годен, а он все-таки будет писать, и ничего с ним не поделаешь. Он, знаете, везде, всегда будет писать по той простейшей причине, что не писать он не может.

Подумал, помолчал и опять заговорил:

– Ну, а есть авторы первых книжек. Это явление небезынтересное. Они про себя иногда, к сожалению, да еще при наличии успеха, склонны предполагать, что вот-де мы писатели. А никакие они не писатели. В сущности, нет такого человека, ежели он не кокетка, и не врун, и не самовлюбленный болван, который не мог бы про себя, про спою жизнь написать небезынтересную книжку. И не только небезынтересную, но даже очень интересную. Вот тут, случается, происходят печальнейшие камуфлеты. Написал книжку, работать бросил, так называемые

друзья провозгласили гением, ну а гению сказать больше и нечего. Ищет он при последующих неудачах первопричину не в собственной литературной немощи, а в кознях завистников, в горемычной судьбине, становится эдаким подозрительным, жалобы строчит, ко мне обращается, вроде бы я департамент изящной словесности. И сложно с этими первыми книгами, необыкновенно сложно. Советская власть вызвала из гущи народной тысячи, десятки тысяч интереснейших судеб. В течение двух десятков лет люди проделали гигантский путь, многие сами себя открыли, – как этими открытиями не поделиться? Есть книжицы, написанные не бог весть как, но читать их спокойно невозможно, горло перехватывает. И точность, и простота, а главное – есть человеку что сказать людям. Есть богатство, которым хочется поделиться, есть мысли, которые "и другим пригодятся. И спрашивают: писате'ли они или нет? Не берусь судить. Не стану, не хочу, не буду…

В другой раз Горький спросил меня, что я собираюсь писать. Я рассказал, сбиваясь. Он ходил по комнате, покашливал, поглядывал на меня. Неожиданно остановился и сказал:

– По поводу этого ирландского восстания есть стенографический отчет на английском языке, если не ошибаюсь. Году эдак в 1913-м издан. Кроме того, в те же годы по газетам многое разбросано.

И, стоя посредине большой, почти пустой комнаты, глядя мимо меня напряженно вспоминающими глазами, он стал диктовать даты, брошюры, журнальные статьи. Я записывал, и мне казалось, да и до сих пор кажется, что это чудо: вопрос был узкий, в России тем более мало известный, прошли десятилетия, – как могло все это удержаться в памяти Горького?…

Потом я проверил. В двадцати двух названиях были только три ошибки.

Вечером за чаем Луговской спросил у Горького, как он справляется с тем огромным количеством писем, которые ежедневно приходят к нему. Алексей Максимович со смешком сказал:

Отвечаю. Всем, кроме вымогателей и душевнобольные.

Помолчал и добавил:

– Впрочем, душевнобольным тоже отвечаю. Необыкновенно интересные, знаете ли, встречаются среди них индивидуумы. Иногда даже, грешным делом, подумаешь: а и в самом ли ты деле душевнобольной? И хитер, и умен… Один приезжал ко мне, вначале действительно было занимательно, а потом – нет, все-таки сумасшедший… Вот тоже случаются любопытные стечения

обстоятельств. Был у меня весной рационализатор один из Свердловска. Занятнейший человек, образованнейший, светлая голова. Много сделал, много делает, и все как-то на пользу людям, все для людей, все то, что сейчас каждому человеку нужно. И тут же, в это же время, из Свердловска же от одного литератора получил письмо, исполненное желчи и эдакой всеобщей тоски. Не о чем ему, видите ли, писать, героя нет, и хотелось бы нечто создать, да не о ком. Нет для его стиля достойного характера. Не видит он Человека с большой буквы (эка ко мне хитро подольстился!). Пришлось написать ему адрес свердловчанина-рационализатора, теперь обождем, что из этого образуется. Не любопытны мы, до удивления не любопытны.

О книге моей «Бедный Генрих» Горький прислал мне ругательное письмо, а при свидании сказал невесело:

– Вы не обижайтесь, но на старости лет мне все больше и больше хочется, чтобы люди замечали вокруг себя и хорошие дела, и хороших людей, и то, как эти хорошие люди формируются. Черта вам заграничная жизнь далась, что вы в ней понимаете? Один вот из вашего брата прислал мне поэму об итальянской жизни. А был там всего ничего – сколько пароход стоял. Моряк-механик. Стал мне о своих друзьях рассказывать – я заслушался. А в поэме все – мадонна, мадонна. Какое ему, дурачку, дело до мадонны?

И спросил совсем грустно:

– Почему вы такие?

Долго ходил по комнате из угла в угол и неожиданно посоветовал:

– Написали бы о Феликсе Эдмундовиче Дзержинском. Книжечку. Для ребят. Я вам один сюжет расскажу – желаете?

И рассказал, чему-то улыбаясь, покуривая сигарету, короткую и трогательную историю про то, как чекисты в голодные годы гражданской войны «обманули» Дзержинского. В столовой на Лубянке в тот день кормили супом из конины, а Дзержинскому сжарили несколько картошек на свином сале. И доложили, что у всех сегодня на обед картошка с салом.

– Я тоже в этой игре участвовал, – сказал Горький. – Меня предупредили, чтобы не выдавал…

Еще походил и еще рассказал:

– Однажды приехал к Феликсу Эдмундовичу заступаться (очень уж много в ту пору уговаривали меня разные. – заступись да заступись), ну а Дзержинский мне навстречу вышел, в коридоре встретились. Глаза красные, знаете ли, как у кролика, и спрашивает: «Алексей Максимович, когда же отпадет необходимость в жестокости?…» Что я мог ответить? Небывалой

нравственной чистоты человечище был.

Погодя Горький спросил, о чем я пишу сейчас. Я рассказал ему о «Наших знакомых». Он слушал, как всегда, внимательно, переспрашивал, потом сказал:

– О поваре – это хорошо, очень хорошо. Человек, который кормит и старается повкусней накормить, не может быть дурным человеком. Вы прочитайте такую книжку: Брилья-Саварен «Физиология вкуса», много полезного найдете для, с позволения сказать, философии поварского искусства.

И улыбнулся.

– Любопытно, какие только сочинения людьми не написаны.

А я почти с ужасом подумал: «Господи, когда же он успевает все это читать?»

Отрывок из «Наших знакомых» был напечатан в одном из ленинградских альманахов. Горький прочитал про повара и сказал мне недоуменно:

– Ну, а Брилья-Саварен? Ведь это же евангелие настоящего повара.

Я ответил Алексею Максимовичу, что не достал эту книжку. И тут Горький пришел буквально в ярость:

– То есть как это не достали? Как вы могли не достать? Какое вы имели право не достать? Вишь какой беспомощный!

Дня через два мне позвонил секретарь Горького и велел немедленно прийти. В пустой столовой на Малой Никитской я в течение нескольких часов читал Брилья-Саварена и делал из него выписки. Горького в этот день я не видел. И больше никогда об этом он со мной не заговаривал.

Я не знаю и, пожалуй, не знал ни одного человека, который умел бы так восхищаться и радоваться всему талантливому, подлинному и настоящему, как радовался Горький.

Помню, на даче вдруг хлынул проливной дождь, а Горький увидел позабытую в саду книжку. Легкой поход кой, бегом, он бросился за ней, мгновенно промок насквозь, но, словно не замечая этого, любовно обтер толстый том и сказал всем нам – молодежи:

– Черти полосатые! Это же Алексей Николаевич Толстой! Как написал! Как отлично написал. Великолепный, замечательный писатель…

И долго здесь же, на террасе, с совершенно юношеским жаром говорил о Толстом, потом переехал на Юрия Николаевича Тынянова – вспомнил «Кюхлю», и вдруг на глазах его буквально закипели слезы восторга. Весь этот день, один из лучших дней, какие я помню, Горький был, если можно так выразиться, энергично, стремительно весел, хвастался нам свежим номером

журнала «Наши достижения» (он очень любил этот журнал и даже у меня, молодого литератора, спрашивал, что мы, молодежь, думаем об этом его детище) и неустанно хвалил советскую литературу и в ее настоящем, и в том, какой она станет.

–. Вы не знаете, – говорил он, – вы еще молоды и читаете только то, что сами пишете или что сосед написал. А я знаю: нашим литераторам никогда не придется задумываться над тем, для чего нужно искусство и нужно ли оно вообще. А это знаете как важно! Это, товарищи, основа основ…

Попозже, помешивая угли потухающего костра, Горький слушал одного писателя, который изящными и округлыми фразами выражал ему восхищение по поводу нынче напечатанной статьи Алексея Максимовича. Внезапно Горький сказал:

– Не так это все. Я некоторые положения намеренно сгустил. И именно от вас, несколько вас зная, ждал ответа в печати. Предполагал, что разгорится литературная полемика. Без литературной полемики получается не живая литературная жизнь, а какая-то, знаете ли, кислятина. Скучно! Вот тут молодежь сидит, слушает, делает вежливые лица, а ведь небось у каждого есть свое мнение. Что, есть? Чего моргаете? Ведь тоже, поди, со мной не согласны? Или так уж все нам навсегда ясно, что мы решительно ни в какой литературной полемике не нуждаемся? Ведь это ерунда, ведь это решительно быть не может, ведь это все вздор…

Мы молчали.

Горький вздохнул, но сказал весело:

– Надо, товарищи, прекословить. Литература – дело живое, а стоит мне публично выступить, как это мое выступление вы сразу начинаете цитировать, точно слова мои – закон. Это мое мнение, литератора Горького мнение. И вы уж извольте со мной разговаривать как с литератором, пусть и более опытным, чем вы, а но как с департаментом изящной словесности…

* * *

Так я видел Горького живым в последний раз. Потом я увидел его в гробу. Я стоял у гроба и никак не мог поверить, что один из самых живых людей на земле – мертв. И вспомнились мне почему-то слова:

– Надо, товарищи, прекословить. Литература – дело живое…